

*Владимир Гельман*

## **«ПОДРЫВНЫЕ» ИНСТИТУТЫ И НЕФОРМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ**

В сентябре 2009 года бывший заместитель министра энергетики России и один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Владимир Милов выдвинул свою кандидатуру на выборах в Московскую городскую думу как независимый кандидат. Согласно закону, он представил в избирательную комиссию округа № 13 4550 подписей избирателей этого округа, собранных в поддержку своего выдвижения. Но избирательная комиссия отказала ему в регистрации, признав недействительными все без исключения подписи в поддержку Милова, включая и подпись самого кандидата. Все попытки Милова обжаловать это решение в Центральной избирательной комиссии и в суде оказались безуспешными — он, как и другие представители «Солидарности», не был допущен в качестве кандидата к участию в выборах. В голосовании, которое прошло 11 октября 2009 года, приняли участие шесть партий. Львиная доля голосов и мест ожидаемо досталась «партии власти» «Единая Россия». Но на участке, где голосовали лидер оппозиционной партии «Яблоко» Сергей Митрохин и члены его семьи, по официальным данным, среди 1020 бюллетеней 904 голоса было подано за список «Единой России» и ни одного — за «Яблоко». После того как этот факт был предан широкой огласке, по требованию Митрохина бюллетени на данном участке были вновь пересчитаны. По результатам пересчета (вызвавшим сомнения у ряда наблюдателей) оказалось, что все голоса, поданные за список «Яблока», в ходе подсчета оказались приписаны другой оппозиционной партии — КПРФ, в то время как число голосов за «Единую Россию» осталось прежним и итоги выборов сохранились неизменными (Голос, 2009).

Оба этих сюжета примечательно характеризуют выборы в современной России с точки зрения сочетания формальных и неформальных ин-

ституты. Как избирательный закон сам по себе (в первом случае), так и практика его применения (во втором) служили не механизмом обеспечения демократической конкуренции, но, напротив, политическим инструментом, который призван либо не допустить конкуренции, либо сделать ее заведомо несправедливой. Иначе говоря, формальный институт выборов как основы демократии служил лишь фасадом неформальных институтов электорального авторитаризма (Schedler, 2006), а де-факто применявшиеся на выборах «правила игры» (rules-in-use) (Ostrom, 1990: 53) формально юридически закрепляли эту практику. Аналогичные констелляции формальных и неформальных институтов, подрывающие и фактически извращающие основания демократии, верховенства права и эффективного политико-экономического управления (governance), характерны и для ряда других сфер российской политики и экономики. Многочисленные негативные характеристики такого рода институциональных констелляций справедливо расценивают их как препятствие на пути модернизации нашей страны. В последние годы эти оценки нашли свое отражение в низких показателях России в международных рейтингах экономических и политических свобод, качества государственного управления и уровня коррупции (см. обзор: Заостровцев, 2009). Хотя Россия отнюдь не уникальна и сходные констелляции отмечаются и во многих иных странах и регионах мира (Lauth, 2000; Helmke, Levitsky, 2004, 2006), российский опыт может быть полезен для осмысления негативного воздействия «подрывных» (subversive) неформальных институтов и их роли в процессе политико-экономического управления. Настоящая статья призвана, с одной стороны, рассмотреть «неформальную институционализацию» (O'Donnell, 1996) в России в теоретической и сравнительной перспективе, а с другой стороны, критически проанализировать некоторые объяснения доминирования «подрывных» институтов в неформальном управлении в современной России, отчасти продолжая логику прежней работы (Gel'man, 2004). В заключении статьи намечены возможные направления дальнейших исследований «подрывных» институтов и неформального управления в России и других странах.

### **«ПОДРЫВНЫЕ» НЕФОРМАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ: В ПОИСКАХ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СХЕМЫ**

«Неформальные институты» в последние два десятилетия стали одним из популярных ключевых слов, задающих вектор дискуссий в политических науках. Сама по себе «неформальность», имманентно присущая

любым обществам (North, 1990: 6), может иметь различные последствия с точки зрения ее воздействия на формальные институты и на поведение индивидов (Helmke, Levitsky, 2004: 728–730). Но в фокусе внимания многих исследователей чаще оказываются именно те «конкурирующие» (competing) неформальные институты, которые не просто подменяют собой формальные правила, но и приводят к негативным эффектам. Клиентелизм, коррупция, клановая политика, схемы ухода от налогообложения, селективное применение права государственным аппаратом — вот лишь некоторые из негативных эффектов неформальных институтов, которые справедливо подвергаются критике на пространстве от Латинской Америки (Helmke, Levitsky, 2006) до Центральной Азии (Collins, 2006). Постсоветская Россия в этом отношении может служить «лабораторией» и «естественным экспериментом» господства таких неформальных институтов, которые влекли за собой многочисленные негативные проявления в политике, в экономике и в обществе. Достаточно назвать феномен «блата» (Ledeneva, 1998), глубоко манипулятивные механизмы приватизации (Freeland, 2000; Hoffman, 2002), захват частного бизнеса путем банкротства (Volkov, 2004), в том числе и осуществляемый государством, как в случае «дела “Юкоса”» (Паппэ, Галухина, 2009: 213–26), непрозрачное финансирование партий и выборов (Барсукова, 2009: 273–84), и т. д. Хотя детальные описания этих и других негативных процессов и тенденций позволяют подробно представить картину преобладания постсоветской «неформальности» и ее проявлений в различных сферах жизни России, стремление включить их изучение в теоретическую и сравнительную перспективу анализа (Solomon, 2008) наталкивается на фундаментальные проблемы. Во-первых, в какой мере существующие инструменты анализа неформальных институтов и их последствий эффективны в качестве познавательных средств, позволяющих выявить механизмы их функционирования и воздействия на политические и общественные процессы? Во-вторых, каковы причины, обусловившие преобладание неформальных институтов в постсоветской России и их негативные последствия? Каков генезис постсоветской «неформальности», существуют ли пути преодоления ее негативных последствий, и если да, то каковы они? Ответы на эти вопросы представляются далеко не очевидными.

В самом деле, представленные выше примеры неформального управления в ходе электорального процесса, вполне типичные для российских выборов (Голос, 2009), не столь легко вписываются в стандартные рамки институционального анализа. Как отказ в регистрации кандидатуры

Милова, так и подсчет голосов на участке Митрохина и его частичный (не имевший решающих последствий) пересмотр были осуществлены на основе формальных норм избирательного законодательства, принятых российским парламентом. Многие из этих норм разрабатывались в 1990-е годы в русле стандартов развитых демократий (Gel'man, 2004); казалось бы, они были призваны обеспечить честную электоральную конкуренцию. Но на практике многие положения российских законов о выборах были либо полны лазеек и умолчаний, дававших широкий простор для произвольных интерпретаций со стороны избирательных комиссий, отвечавших за организацию выборов, либо предоставляли избирательным комиссиям право принятия ряда решений, носивших необратимый характер. Поскольку избирательные комиссии назначались местными властями и находились в зависимости от них, не приходится удивляться тому, что их решения все чаще принимались с систематическим уклоном (bias) в пользу проправительственных партий и кандидатов (Popova, 2006). Поэтому в российском избирательном законодательстве и практике его применения усугублялась «размытая законность» (fuzzy legality) (Cohn, 2001), когда формальные институты создавали стимулы не к следованию «духу законов», но к явному извращению их сути посредством как широкого делегирования полномочий, так и селективного применения санкций. Более того, по мере усиления монополизма в российской электоральной политике само законодательство о выборах становилось рестриктивным, создавая все новые лазейки и умолчания, с одной стороны, и барьеры для «нежелательных» партий и кандидатов — с другой (Голосов, 2008). В результате уже к концу 2000-х годов формальные институты российского избирательного законодательства задавали рамки отнюдь не электоральной демократии, а электорального авторитаризма. В случае Милова сам кандидат был признан нарушителем закона, поскольку избирательная комиссия была вправе сама решать, какие подписи признавать действительными, а какие нет, и, таким образом, использовала эту юридическую возможность для исключения оппозиционера из предвыборной борьбы. В случае Митрохина норма закона об ответственности избирательных комиссий за заведомо неверный подсчет голосов оставалась лишь на бумаге. На практике же результаты их работы оценивались по доле голосов, поданных за «Единую Россию», и свидетельства о том, что избирательные комиссии оформляли протоколы с заранее проставленными итогами голосования, носят массовый характер (Голос, 2009).

Как видно на примерах электорального процесса в России, ни традиционное разделение институтов на формальные и неформальные, ни их

распространенные определения не слишком полезны для осмысления логики неформального управления. В самом деле, если неформальные институты суть «социально разделяемые, обычно неписанные правила, которые создаются, передаются и поддерживаются за пределами официально санкционированных каналов», а формальные институты соответственно суть «правила и процедуры, создаваемые, передаваемые и поддерживаемые по каналам, которые признаются официальными» (Helmke, Levitsky, 2004: 727), то как следует рассматривать описанные выше случаи? Несправедливая конкуренция в условиях электорального авторитаризма в России, да и не только (Schedler, 2006), официально закреплена в рамках закона и правоприменительной практики как системой норм и санкций, так и государственным аппаратом, чья задача — обеспечить «нужный» исход голосования и предотвратить его нежелательные для властей исходы. Неформальное управление электоральным процессом в такой ситуации не просто не противоречит формальным институтам избирательного права, а, напротив, прямо на них основано. Объяснения данных явлений с позиций негативного воздействия «конкурирующих» или «замещающих» неформальных институтов при таком подходе рискуют оказаться «остаточной категорией» (Helmke, Levitsky, 2004: 727), не позволяющей адекватно выявить их эффекты.

		Эффективность формальных институтов	
		Высокая	Низкая
Эффекты сочетания формальных и неформальных институтов	Совпадающие	Взаимодополняющие	Замещающие
	Противоположные	Приспосабливающиеся	Конкурирующие

Схема 1. Типология неформальных институтов (Helmke, Levitsky, 2004: 728)

Познавательнее более полезной представляется иная точка зрения, согласно которой формальные и неформальные институты ни фактически, ни аналитически не отделены друг от друга, а находятся в сложном взаимном переплетении в рамках одних и тех же институтов. Они представляют собой даже не две стороны одной медали, а скорее «оболочку»,

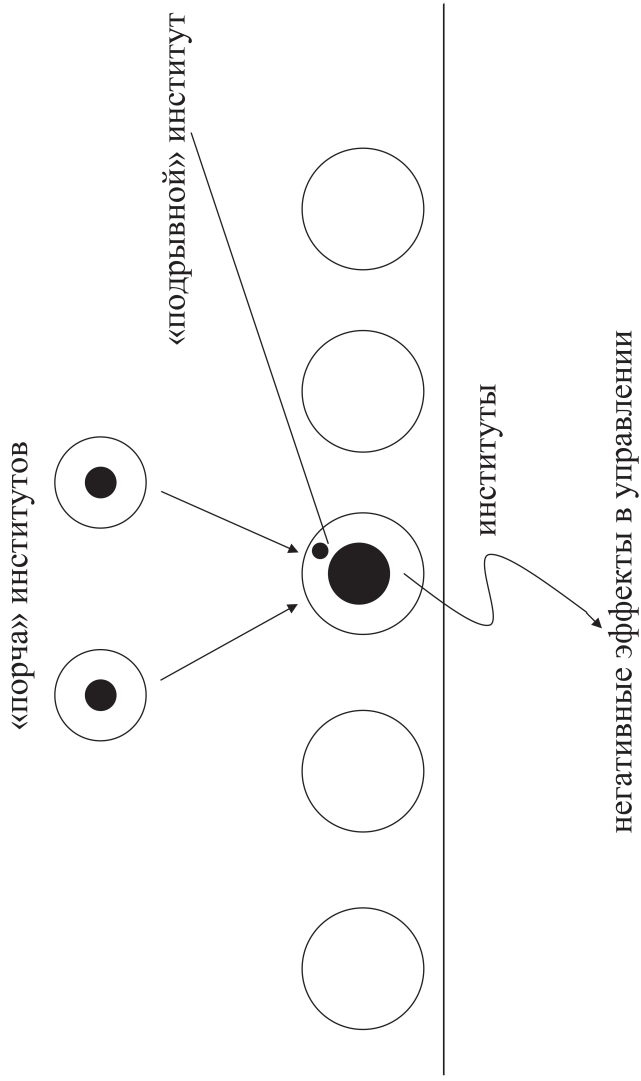


Схема 2. Формирование и эффекты «подрывных» институтов

или внешний институциональный фасад, и «ядро», определяющее характер и направленность функционирования с точки зрения эффектов этих институтов в процессе неформального управления (Панях, 2003; Барсукова, 2009: 99–106). Скорее более уместным здесь выглядит суждение Ханса-Йоахима Лаута о том, что иные неформальные институты, подобно болезнетворным бактериям, «паразитируют» на формальных, «оккупируя» их изнутри и «подрывая» их функционирование (Lauth, 2000: 26). Согласно такому подходу, формальные и неформальные институты не противопоставляются друг другу, а находятся в состоянии своеобразного симбиоза, который ведет к тому, что под формальной оболочкой механизмы, как будто бы призванные обеспечить демократию и верховенство права, либо разрушаются изнутри, либо даже превращаются в полностью противоположные явления. Воздействие именно таких — «подрывных» — институтов и обуславливает их негативные эффекты в процессе неформального управления, а сам процесс «неформальной институционализации» (O'Donnell, 1996) следует рассматривать как систематическую «порчу» институтов в ходе как институционального строительства, так и их последующей эволюции.

Описанные выше примеры из сферы неформального управления электоральным процессом в России могут служить скорее правилом, чем исключением. Аналогичный «подрывной» симбиоз формальной «оболочки», прикрывающей неформальное «ядро» теневой экономики, клиентелизма и коррупции, широко распространен и в других сферах жизни российского общества (описания см.: Ledeneva, 2006; Барсукова, 2009: 250–321). Ретроспективно можно утверждать, что вся институциональная организация советской политики и экономики может также быть описана в аналогичных категориях. Одни институты в СССР изначально носили характер ничего не значащего фасада (как советская конституция, предполагавшая парламентаризм и всеобщие выборы на фоне однопартийного господства), а другие приходили в состояние институционального упадка по мере разложения советской системы (такие, как плановая экономика на фоне дефицита и усугубления рентоориентированного поведения агентов, — см.: Найшуль, 1991). При этом негативное влияние «подрывных» институтов на неформальное управление зачастую носит нелинейный характер; оно может проявляться в силу воздействия самых разных явлений и процессов, задающих те или иные стимулы к поведению акторов. Так, в частности, Валери Банс отмечала «подрывной» характер институтов социалистического этнического федерализма в Советском Союзе и в Югославии, которые в конечном итоге

на рубеже 1980–1990-х годов повлекли за собой коллапс этих государств (Bunce, 1999). И хотя следует согласиться с Гретхен Хелмке и Стивеном Левицки, что процессы институциональных изменений могут существенно видоизменить и конфигурации неформальных институтов, и их эффекты (Helmke, Levitsky, 2004: 731–33), но в случае «подрывных» институтов эти изменения могут подчас вести к непредсказуемым последствиям. Те же социалистические федерации оказалось легче уничтожить, чем реорганизовать, а попытки внесения многочисленных поправок в принятую в 1978 году Конституцию РСФСР стали одним из источников острого силового конфликта между президентом и парламентом России в 1992–1993 годах (Remington, 2001).

Если пытаться включать «подрывные» институты в более широкую перспективу институционального анализа, то следует обратить внимание на принципиальные аспекты их функционирования, влияющие на процессы неформального управления. Идеальные модели как исключительно формальных институтов (конституции и законы), так и исключительно неформальных институтов (традиции и обычаи) (North, 1990: 6) можно представить в виде равновесия, которое либо носит самоподдерживающийся характер, либо же обусловлено «ограничивающим» эффектом институтов (Ibid.: 93). Напротив, преобладание «подрывных» институтов создает частичное равновесие, которое может быть нарушено под влиянием экзогенных факторов и потому носит временный характер. Следовательно, при преобладании в том или ином обществе «подрывных» институтов, в отличие от вариантов преобладания формальных либо неформальных институтов в «чистом» виде, происходит не расширение, а сужение временного горизонта акторов, стимулирующее их к рентоориентированному поведению, с одной стороны, и лишшающее их стимулов к изменению статус-кво — с другой. Таким образом, частичное равновесие «подрывных» институтов следует представить как один из частных случаев такого широко распространенного явления, как «институциональная ловушка» (Полтерович, 1999) — устойчивого преобладания неэффективных институтов, которое не может быть преодолено без значительных внешних воздействий на всю институциональную систему в целом.

Продолжая медицинскую аналогию, намеченную Лаутом, для «подрывных» институтов воздействие неформального «ядра» на формальную «оболочку» можно уподобить воздействию вируса, чье влияние на компьютерную программу или на организм человека разрушает их изнутри. Для углубленной диагностики российских «подрывных институтов» и их



возможных последствий необходимы, говоря медицинским языком, их этиология и патогенез, предполагающие выявление генезиса и механизма эволюции с целью последующего анализа перспектив этих институтов в рамках неформального управления.

### **«ПОДРЫВНЫЕ» ИНСТИТУТЫ В РОССИИ: ПЕССИМИЗМ, ОПТИМИЗМ ИЛИ РЕАЛИЗМ?**

Исследования этиологии и патогенеза «подрывных» институтов в известном смысле также можно уподобить медицинским заключениям. В самом деле, истории отнюдь не всех болезней одинаково трагичны. Если одни заболевания носят наследственный характер, то другие вызваны заражением; если эффекты воздействия одних вирусов — хронические и неизлечимые, то другие представляются хотя и неизбежными, но все же преодолимыми «болезнями роста», в то время как третьи могут повлечь за собой даже летальный исход. Подобно специалистам по диагностике заболеваний человеческого организма, социальные исследователи, изучающие с позиций различных дисциплин и научных школ причины и следствия негативного воздействия «подрывных» институтов на различные сферы жизни российского общества, ищут ответы на вопросы о причинах и следствиях общественных патологий. Следуя традиции, нашедшей свое отражение в популярной шутке позднесоветского периода,<sup>1</sup> сторонников различных подходов к этиологии и патогенезу «подрывных» институтов в России можно условно разделить на «пессимистов», «оптимистов» и «реалистов». «Пессимисты», склонные рассматривать российские «подрывные» институты как хроническое наследственное заболевание страны, изучают российские культуру и историю и черпают из них свою печальную аргументацию о непреодолимости преобладания в России «подрывных» институтов. «Оптимисты», напротив, рассматривают российские «подрывные» институты как затянувшуюся «болезнь роста», ставшую побочным эффектом трансформационных процессов постсоветского периода. Они анализируют процессы государственного строительства и возлагают некоторые надежды на более интенсивное включение нашей страны в международные и транснациональные процессы как средство преодо-

---

<sup>1</sup> В 1970–1980-е годы в СССР в шутку говорили, что оптимисты изучают английский язык, пессимисты — китайский, а реалисты изучают автомат Калашникова. В известной мере эта шутка не утратила актуальность и по сей день.

ления негативных эффектов «подрывных» институтов. Наконец, «реалисты» анализируют воздействие групп специальных интересов на процессы институционального строительства, с одной стороны, и на эволюцию институтов — с другой. Их оценки перспектив преодоления воздействия «подрывных» институтов в России скорее носят скептический характер, поскольку эти процессы, по их мнению, обусловлены общими характеристиками экономического, политического и социального устройства страны в целом.

Описанные подходы, впрочем, следует рассматривать как «идеальные типы»: они не жестко противоречат друг другу, а скорее взаимно дополняемы. На практике подходы даже одних и тех же исследователей включают в себя элементы различных объяснений «подрывных» институтов и их роли в процессе неформального управления в России. Рассмотрим подробнее аргументы каждого из подходов.

### **ПЕССИМИСТЫ: КУЛЬТУРА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ**

Большинство культурных интерпретаций преобладания «подрывных» институтов в России, да и не только, явно либо имплицитно восходят к классической веберовской типологии легитимного господства (Вебер, 1990). Если преобладание формальных институтов по определению выступает атрибутом рационально-легального господства, то «подрывная» неформальность преобладает в условиях традиционного господства, элементы которого сохраняются и в современную эпоху. Поскольку неформальные институты, как правило, идентифицируются с обычаями, традициями и культурными ограничениями (North, 1990: 6; Helmke, Levitsky, 2004: 728), то их корни и механизмы негативного «подрывного» влияния на процессы неформального управления «по умолчанию» связываются с эффектами неблагоприятного наследия прошлого, своего рода рудиментами традиционных обществ. Со временем они укореняются в культуре и становятся препятствием на пути институциональной модернизации, поскольку задают самоподдерживающуюся историческую обусловленность (path-dependency) и ставят непреодолимые барьеры на пути институциональных изменений в будущем (North, 1990: 93). Согласно этой — глубоко пессимистической — точке зрения, общества, исторически лишённые иммунитета от воздействия «подрывных» институтов на уровне «правильной» культуры и устойчивых традиций, могут оказаться их жертвами надолго, если не навсегда. Попытки преодоления врожденных и наследственных патологий

их развития если не обречены на неудачу, то весьма затруднительны, и отдельные случаи успешного исцеления от них благодаря терапии в виде социокультурной эволюции служат лишь исключениями, подтверждающими правило (Harrison, 1992).

Основой господствующих в науке представлений о культурной обусловленности преобладания «подрывных» институтов в России (и некоторых других постсоветских странах) служат два (не очень противоречащих друг другу) взгляда. С одной стороны, наиболее влиятельная концепция Ричарда Пайпса рассматривает всю историю России сквозь призму глубоко укорененного неопатримониализма, ключевым проявлением которого стали проходящие сквозь века отсутствие закреплённости прав собственности (в широком плане включающих и права человека в целом) и произвол государственной власти по отношению к обществу (Pipes, 1974). Это неопатримониальное «наследие» не удалось преодолеть в ходе многочисленных попыток модернизации страны, и потому исторически сложившиеся «подрывные» институты «обрекают» Россию на заведомо антидемократическую, неправовую и неэффективную траекторию развития. Схожие теоретические рамки определяют и повестку дня ряда российских исследователей, склонных рассматривать всю историю России как проявление «особого» пути развития в духе «Русской системы» (Пивоваров, Фурсов, 1999), задающей «неправильную» траекторию институционального развития страны, либо как вечное противостояние модернизации и традиционализма в духе манихейской борьбы добра со злом (Ахиезер, 1997). С другой стороны, исследователи отмечали негативное воздействие «ленинского наследия» коммунистического правления, которое в позднесоветский период повлекло за собой вырождение режимов советского типа в «неотрадиционализм» (Jowitt, 1992), наложивший культурный отпечаток на институциональную траекторию постсоветского периода. Соответственно это «наследие» сформировало особый социальный тип — «советского человека», ориентированного на следование нормам и правилам именно «подрывных» институтов и не склонного и не способного к отказу от них (Левада, 1993, 2006).

Так или иначе, ключевой причиной преобладания «подрывных» институтов в России в логике «культурного детерминизма» выступает исторически укорененный произвол власти (*arbitrary rule*), сопровождавшийся репрессивными практиками и вызывавший защитные реакции на массовом уровне. Поэтому распространение в советский период истории России таких «подрывных» неформальных институтов, как клиенте-

лизм (Афанасьев, 2000), теневая экономика (Барсукова, 2009: 227–44) или блат (Ledeneva, 1998), стало своего рода оружием сопротивления «слабых» индивидов по образцу явлений, отмеченных Джеймсом Скоттом в Юго-Восточной Азии (Scott, 1985). Более того, в постсоветский период данная ситуация лишь усугубилась, поскольку «подрывные» институты неформального управления доказали свою функциональность, став ценным ресурсом адаптации индивидов и организаций в ходе трансформаций 1990-х и 2000-х годов и сопротивления произволу (теперь уже) нового российского государства (Либман, 2006; Ledeneva, 2006). Глубоко пораженный этими вирусами общественный организм вырабатывает собственные антитела, не только позволяющие ему адаптироваться к хроническому заболеванию, но и препятствующие ослаблению «подрывных» институтов вне зависимости от политических и институциональных изменений. Исходя из представлений о том, что культурное «наследие» детерминирует социальное поведение, делается вывод о том, что «подрывные» институты в России демонстрируют свою неустранимость, а их преобладание в неформальном управлении с едва ли не фатальной неизбежностью закрепляется политическим устройством общества (Gel'man, 2004: 1023). Каузальный механизм преобладания «подрывных» институтов в России может быть описан в категориях отсутствия «спроса на право» со стороны потребителей этого общественного блага — как индивидов, так и организаций (Hendley, 2001) — в силу низкого уровня доверия к государству и в целом к формальным институтам и глубокой укорененности патронажно-клиентельных связей. Поэтому попытки навязать обществу верховенство права терпят неудачу, и любые попытки его установления бесполезны, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.<sup>2</sup> Данные ряда массовых опросов, в которых анализируются установки и ценности россиян, свидетельствуют в пользу этого тезиса (Левада, 1993, 2006; Rose et al., 2006). Особенно показательны в этом отношении низкая ценность прав собственности в глазах российских граждан и их стремление к пересмотру результатов приватизации, явно выделяющие Россию даже на фоне других посткоммунистических стран (Denisova et al., 2009).

Однако объяснения преобладания «подрывных» институтов в России с позиций культурного детерминизма уязвимы как эмпирически, так и методологически. Во-первых, данные некоторых массовых опросов

---

<sup>2</sup> Сходные аргументы встречаются и в ходе дебатов о роли неформальных институтов в далеких от России странах Латинской Америки (Helmke, Levistky, 2006).

говорят о том, что в плане «спроса на право» и отношения к негативным проявлениям неформального управления (таким, как неуплата налогов) установки российских граждан вполне сопоставимы с установками жителей стран не только Восточной, но и Западной Европы (Gibson, 2003). Во-вторых, как показывает опыт, «орудием слабых» в их борьбе за социально-экономические права в России как раз выступают формальные нормы законодательства, а не «подрывные» институты: судебные иски и шумные публичные кампании сопровождали протестные выступления пенсионеров (Cashu, Orenstein, 2001), а также локальные гражданские инициативы (Белокурова, Воробьев, 2010). Наконец, в-третьих, исследование Тимоти Фрая демонстрирует, что в среде российского бизнеса правовые способы разрешения споров пользовались спросом лишь в том случае, если речь шла о конфликтах предпринимателей между собой; если же стороной конфликта оказывается государство, то бизнес не рассчитывает на успех в судебных тяжбах против него (Frye, 2002). Эти исследования свидетельствуют отнюдь не об отсутствии в России «спроса на право», а о неудовлетворительном предложении формальных норм и правил, которое вызвано, в том числе, разлагающим воздействием со стороны «подрывных» институтов. Если так, то представление о том, что культурные факторы служат *причиной* преобладания «подрывных» институтов в неформальном управлении в России, не выглядит таким убедительным — скорее массовые установки и ориентации можно считать их *следствием*.

Другим дефектом культурного детерминизма при объяснении преобладания «подрывных» институтов в России служит невозможность осмыслить с его помощью как значимые различия в функционировании тех или иных институтов, так и их динамику. С помощью аргументов «наследия» не удастся ответить на вопрос о том, почему в одних случаях «подрывные» институты имеют значение, а в других — нет. Примерами в современной России могут служить, в частности, улучшение качества корпоративного управления в ходе приватизации предприятий (Guriev, Rachinsky, 2005), динамика институциональной среды бизнеса (Яковлев, Фрай, 2007), повышение эффективности работы налоговых служб (Pryadilnikov, 2009), и т. д. Если бы культура обуславливала негативное влияние «подрывных» институтов в России, то об изменениях такого рода говорить бы просто не пришлось. В более общем плане, если культурное «наследие прошлого», раз возникнув, обречено воспроизводиться сквозь века, то «ленивые» исследователи могут сколь угодно долго повторять те же банальные интерпретации, не ставя преодоление этого

«наследия» в научную, да и в практическую повестку дня. В результате культурные обоснования преобладания «подрывных» институтов попадают в перечень «остаточных категорий», к которым прибегают в тех случаях, когда не могут что-либо объяснить (Helmke, Levitsky, 2004: 727). Согласно им, верховенство права в России не может укорениться вследствие неблагоприятного культурного «наследия», а заданная этим «наследием» исторически обусловленная траектория развития не может быть изменена в отсутствие верховенства права. Наконец, объяснения преобладания «подрывных» институтов в России с позиций культурного детерминизма уязвимы и политически. Они не только выступают «наследием» идеологического противоборства времен «холодной войны» (см.: Volkov, 2002: 17–18), но также и влекут за собой довольно сомнительные рекомендации. В самом деле, если воздействие «подрывных» институтов в той или иной стране (включая Россию) в принципе невозможно преодолеть, то страна, которую невозможно улучшить, рано или поздно подлежит уничтожению — подобно тому, как в конечном итоге и произошло с Советским Союзом.<sup>3</sup> Но реализация такого сценария на практике едва ли выглядит желательной для внутривнутриполитических и международных акторов.

### **ОПТИМИСТЫ: БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВА**

В отличие от пессимистического культурного детерминизма, в рамках которого Россия предстает вечной жертвой неизлечимой наследственной болезни «подрывных» институтов, государственно-ориентированный подход куда более оптимистичен. Его сторонники видят причиной преобладания «подрывных» институтов воздействие своего рода посттравматического синдрома в ходе «революционной» трансформации на фоне распада СССР. Сопутствовавший посткоммунистической революции в России (Мау, Starodubrovskaya, 2001) радикальный разрыв с «наследием прошлого» повлек за собой дискретные институциональные изменения (North, 1990: 89) — создание новых институтов,

---

<sup>3</sup> Примечательно в этой связи, что в российских политических дискуссиях специфика культуры и истории страны выступает аргументом как явных апологетов российского политического режима, так и его жестких оппонентов, в то время как тезис о России как «нормальной стране» (Shleifer, Treisman, 2004) в ряде общественных дебатов не находит сколько-нибудь значимой поддержки.

не укорененных в прежней институциональной среде и потому лишенных механизмов самоподдержания в виде институциональной матрицы. Поскольку этот разрыв в ходе революций сопровождается упадком административного потенциала государства и тех его формальных институтов, которые обеспечивают принуждение к исполнению норм (enforcement), то «подрывные» неформальные институты неизбежно временно заполняют складывающийся вакуум и выполняют функцию минимизации транзакционных издержек. Их использование позволяет агентам снизить уровень неопределенности и хотя бы частично адаптироваться к быстро меняющейся институциональной среде. С одной стороны, они служат своего рода обезболивающим средством, предохраняющим от полного краха в ситуации, когда государство оказывается неспособным обеспечить эффективное функционирование формальных институтов. С другой стороны, в этих условиях «неформальность» подобна швам или гипсовой повязке, позволяющим разорванным тканям срастись, а травмированному организму укрепить свой потенциал для «выращивания» новых институтов, условия для которых складываются в процессе постреволюционной стабилизации (Stinchcombe, 1999). Преобладание «подрывных» институтов, таким образом, служит не только условием выживания, но и источником развития, помогая, например, формированию сетей бизнеса в ходе становления капитализма. Негативные эффекты «подрывных» институтов в этом свете предстают явлением временным и преходящим, чем-то вроде «болезни роста», которая может надолго затянуться, но в принципе преодолима при умелом лечении.

Такая аргументация, основанная на анализе траектории развития российского государства, выглядит вполне убедительной. Постепенное вытеснение формальных институтов советского государства и замещение их «подрывными» неформальными было характерно для последних десятилетий СССР в силу усложнения механизмов управления экономикой (Найшуль, 1991) и ослабления подотчетности нижних звеньев бюрократии из-за непомерно высоких издержек контроля (Solnick, 1998). Крушение коммунистического правления и распад СССР резко увеличили масштаб и скорость ослабления административного потенциала государства, а непреднамеренным последствием процессов демократизации стало возвышение различных агентов, часть из которых не без оснований претендовали на то, чтобы самим выступать от имени государства (Bova, 1999). Многочисленные примеры фрагментации российского государства в 1990-е годы как «по горизонтали», так и «по верти-

кали» подтверждают этот тезис. Среди них — «захват государства» «олигархами» (Freeland, 2000; Hoffman, 2002), спонтанная передача власти от Центра к регионам, ряд из которых управлялись подобно феодальным вотчинам (Stoner-Weiss, 2006), замена денежного обращения бартерными суррогатами (Woodruff, 1999), обеспечение правопорядка с помощью криминальных «крыш» (Volkov, 2002), и т. д. Однако по мере того, как российское государство в 2000-е годы восстанавливало утраченный административный потенциал, подобные явления были либо вытеснены на периферию политического процесса, либо легко встроены государством в новую институциональную среду. Так, «олигархи» утратили контроль над повесткой дня и вынужденно заняли сугубо подчиненное положение в рамках государственного корпоративизма (Паппэ, Галухина, 2009); региональные лидеры лишились рычагов власти при принятии решений и оказались в зависимости от Центра и крупных корпораций (Гельман, 2009); криминальные «крыши» либо легализовались, либо маргинализировались (Volkov, 2002), и т. д. Российское государство, говоря словами Теды Сочпол, «вернулось назад», а реализованный в 2000-е годы консервативный сценарий постреволюционной стабилизации раздвигал временной горизонт акторов, столь необходимый для успешного «выращивания» новых эффективных институтов (Жузьминов и др., 2005). Средством преодоления негативных эффектов «подрывных» институтов служат также и процессы глобализации, способствующие большей открытости постсоветских стран международному влиянию (Либман, 2006).

Эмпирические свидетельства в пользу такого подхода порой выглядят довольно убедительными при анализе отдельных сфер регулирования или секторов экономики России. В частности, Михаил Прядильников в своем сравнительном исследовании смог продемонстрировать, что благодаря укреплению административного потенциала российского государства ряд институциональных преобразований налоговых служб, с одной стороны, и изменения налоговой системы — с другой, в 2000-е годы изменили систему стимулов как налоговых инспекторов, так и налогоплательщиков в России. «Подрывные» институты в сфере налогообложения оказались ослаблены (Prядilnikov, 2009). Однако другие исследования говорят об ином: усиление в 2000-е годы формальных «правил игры» в данной сфере привело к тому, что в руках чиновников они выступали орудием селективного применения в целях поощрения одних агентов и наказания других (как, в частности, произошло в ходе «дела “Юкоса”»), — см.: Волков, 2005; Паппэ, Галухина, 2009: 213–26).



Напротив, имеется немало свидетельств того, что в условиях сильного государства «подрывные» институты, возникшие в ходе трансформации 1990-х годов, могут успешно мутировать: одни их негативные эффекты сменяются другими (Панеях, 2003; Ledeneva, 2006), а сами институты инструментально используются правящими группами в своих корыстных интересах. Они выступают как средством решения проблем принципал-агентских отношений в условиях «вертикали власти» (Рыженков, 2010), так и орудием борьбы с политическими противниками, о чем свидетельствуют описанные выше случаи Милова и Митрохина. В более широком методологическом плане следует утверждать, что хотя преобладание «подрывных» институтов и является атрибутом слабых государств, но само по себе восстановление административного потенциала государства не влечет за собой «по умолчанию» ни их упадок, ни становление верховенства права. Наоборот, есть немало аргументов в пользу того, что сильное государство может оказаться ничуть не менее опасным препятствием для верховенства права, нежели слабое, если его высокий административный потенциал будет сочетаться с низким уровнем автономии. В этом случае речь идет о становлении препятствующего успешному развитию экономики и общества «государства-хищника» (*predatory state*), негативные эффекты которого могут носить долгосрочный характер, о чем свидетельствуют исследования, выполненные как на историческом материале (North, 1990), так и в ходе анализа современных процессов в развивающихся странах (Kang, 2002).

Таким образом, даже если согласиться с тезисом о том, что «подрывные» институты выступают побочным продуктом процессов революционной трансформации и неизбежной «болезнью роста» переходного периода, далеко не всегда сильное государство их успешно излечивает. Российский опыт 2000-х годов скорее говорит о том, что лекарство от преобладания «подрывных» институтов может оказаться хуже болезни и посттравматический синдром под влиянием сильного государства способен перерасти в хронические заболевания.

### **РЕАЛИСТЫ: CUI PRODEST?**

В основе подхода к анализу «подрывных» институтов, который в рамках данной статьи обозначен как реалистический, лежит тезис Дугласа Норта: «Институты... создаются скорее для того, чтобы служить интересам тех, кто занимает позиции, позволяющие влиять на формирование новых правил» (North, 1990: 16). Влияние этих интересов на про-

цессы институционального строительства при определенных условиях может стать основой укрепления «подрывных» институтов, призванных увеличивать частные блага отдельных акторов в ущерб интересам общества в целом. Становление «подрывных» институтов, таким образом, предстает как результат преднамеренных действий, которые можно уподобить отравлению социального организма. Общества со сложившейся конфигурацией основных заинтересованных групп и существующими эффективными формальными институтами обладают иммунитетом к таким отравлениям или хотя бы способны минимизировать их негативные эффекты. Но обществам, вынужденным строить те или иные институты «с нуля» (подобно посткоммунистическим странам), намного сложнее выработать эффективное противоядие, без которого болезнь может оказаться неизлечимой или даже смертельной.

В условиях комплексной посткоммунистической трансформации основными претендентами на роль «отравителей» институтов выступают рентоориентированные группы интересов, использующие открывающиеся «окна возможностей» для усиления собственных позиций. Исследователи стран Восточной Европы отмечали в этой связи и сознательное ослабление административного потенциала государств (Ganev, 2001), и раздел постов в государственном аппарате конкурирующими политическими партиями по принципу «добычи» (Grzymala-Busse, 2003), во многом напомилавшие аналогичные явления в странах Запада в конце XIX века (Etzioni-Halevy, 1979). Однако в 2000-е годы в ходе расширения Европейского союза давление со стороны ЕС оказалось своего рода «противоядием» для восточноевропейцев, позволившим им если не избавиться от «порчи» институтов рентоориентированными акторами, то значительно уменьшить ее социальные издержки. В России, как и в ряде других постсоветских государств, процессы институционального строительства в 1990-е и 2000-е годы по преимуществу носили эндогенный характер, что обусловило отсутствие «противоядия», способного ограничить масштабы преднамеренного строительства и укрепления «подрывных» институтов. Поэтому не приходится удивляться многочисленным примерам, когда акторы, действовавшие в своих экономических или политических интересах, шли по пути умышленного создания «подрывных» институтов. Экс-корреспондент «Financial Times» в Москве Кристия Фриланд ссылается на свое интервью с Константином Кагаловским, который разрабатывал в 1990-е годы правила приватизации предприятий в пользу нарождавшихся российских «олигархов» (Freeland, 2000) и позднее получил высокий пост в компании «Юкос», ставшей

одним из главных бенефициариев «залоговых аукционов» (Паппэ, Галухина, 2009: 199–200). Аналогичным образом в России протекали разработка и реализация законодательства о выборах, призванного посредством размытых норм ведения избирательных кампаний и разрешения споров обеспечить односторонние преимущества политическим силам, находившимся у власти (Gel'man, 2004). Правила доступа к СМИ, механизмы политического финансирования и наложения санкций за нарушение норм, как и их селективное применение, выступали эффективными инструментами в политической борьбе. В частности, выборы могли быть (а могли и не быть) признаны недействительными «в случае, если допущенные... нарушения не позволяют с достоверностью установить результаты волеизъявления избирателей» (Ibid.: 1034).<sup>4</sup> Такие правила открывали весьма широкие возможности для отмены результатов практически любых выборов. После того как в марте 1998 года на выборах мэра Нижнего Новгорода победил аутсайдер-популист с уголовным прошлым Андрей Климентьев, их итоги признали недействительными, поскольку победитель обещал избирателям в ходе кампании повышение пенсий и зарплат, что было квалифицировано как «подкуп избирателей» (Гельман и др., 2000: 172). Но в случае оппозиционера Митрохина эта норма законодательства о выборах ожидаемо осталась невостребованной, что вполне отвечало логике электорального авторитаризма в России (Голосов, 2008).

Если отдельные case studies позволяют выявить генезис и траекторию эволюции «подрывных» институтов в различных сферах российской экономики и политики (Volkov, 2004; Барсукова, 2009: 306–21), то систематический сравнительный анализ дает основания для оценки мотивации акторов в процессе институционального строительства. Антон Шириков в своем исследовании бюджетного регулирования в регионах России убедительно продемонстрировал, что ни региональные губернаторы, ни депутаты региональных легислатур не заинтересованы в разработке и соблюдении единых и четких правил составления и исполнения бюджетов (Шириков, 2010). Напротив, создание весьма размытых и

---

<sup>4</sup> Когда во время обсуждения проектов избирательных законов в 1994 году автор этих строк предложил записать исчерпывающий перечень подобного рода нарушений, дабы исключить произвольную трактовку норм, в ответ один из депутатов разъяснил необходимость принятия именно такой нормы тем, что она даст возможность отметить итоги будущих президентских выборов в случае, если на них победит Зюганов или Жириновский.

оставляющих широкое пространство для маневра норм бюджетного регулирования оказывается выгодно как губернаторам, получающим «свободу рук» в использовании средств, так и депутатам, получающим дополнительные возможности для «торга» с исполнительными властью в составе «распределительных коалиций» (Olson, 1982: 43–47). На фоне слабости региональных legislatures и упадка электоральной конкуренции в 2000-е годы сложилась ситуация неэффективного равновесия (low-level equilibrium) — никто из значимых политических акторов не был заинтересован в разработке и соблюдении норм, направленных на улучшение качества бюджетного процесса. В результате вместо того чтобы служить каналом для распоряжения общественными благами, региональные бюджеты становились инструментом предоставления частных благ для участников бюджетного процесса (Шириков, 2010).

Пример политики регионального бюджетного регулирования говорит и о том, что «отравление» «подрывными» институтами способно повлечь за собой устойчивые негативные эффекты, если неэффективное равновесие отвечает интересам значимых акторов и у них отсутствуют стимулы к изменению статус-кво. Исходя из этой логики, следует полагать, что стремление российских властей к отказу от политической модернизации и к «замораживанию» сложившегося в 2000-е годы неэффективного равновесия в неформальном управлении теми или иными сферами грозит дальнейшим укоренением «подрывных» институтов. В долгосрочной перспективе такое развитие событий может вести к длительному институциональному упадку, преодоление которого со временем становится все более затруднительным. Возникает своего рода «порочный круг»: по мере укоренения «подрывных» институтов снижаются шансы и на эффективность «противоядия» им со стороны российского государства и общества. Поэтому трудно строить предположения о том, удастся ли в таких условиях социальному организму сегодняшней России рано или поздно выработать иммунитет к данным «отравлениям», либо вызванная ими болезнь «подрывных» институтов окажется неизлечимой для страны.

### **ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: СОБИРАЯ PUZZLE «ПОДРЫВНЫХ» ИНСТИТУТОВ**

Представленные выше научные объяснения преобладания «подрывных» институтов в неформальном управлении современной России (как и в других государствах) выглядят как отдельные элементы головоломки (puzzle), собираемые в единое целое по принципу взаимного

дополнения. Если культурные предпосылки и административный потенциал государства выступают когнитивными и структурными ограничениями, которые задают условия и масштабы «институциональной ловушки» преобладания «подрывных» институтов, то действия внутри-политических и внешнеполитических агентов со своими интересами, ресурсами и стратегиями задают конфигурацию самих «подрывных» институтов и конкретные проявления их негативных эффектов. Следует иметь в виду, однако, что комплексный характер причин патологии преобладания «подрывных» институтов, как и в случае тяжелого заболевания, затрудняет формулирование и воплощение в жизнь рецептов лечения. Ни длительная терапия в виде социокультурной эволюции, ни радикальное хирургическое вмешательство в случае смены политического режима сами по себе не гарантируют преодоление этих негативных эффектов, а в известной мере могут даже их усугубить. Однако сохранение статус-кво в неформальном управлении страной едва ли послужит лечению патологии — раз возникнув, преобладание «подрывных» институтов не может исчезнуть само по себе без целенаправленного лечения.

Многие методологические проблемы, присущие исследованиям неформальных институтов и неформального управления (Helmke, Levitsky, 2004: 733–34), актуальны и для изучения «подрывных» институтов в современной России. Хотя ряд работ экономистов, социологов и политологов позволил идентифицировать эти институты, поиски средств их измерения и сравнения — как в кросс-национальной, так и в кросс-темпоральной перспективе — остаются пока резервом исследовательской повестки дня.<sup>5</sup> Открытыми также остаются вопросы и о пригодности теоретических конструкций, которые были разработаны для анализа эффектов «неформальности» в постсоветских странах (Gel'man, 2004; Либман, 2006), и о проверке гипотез о причинах преобладания «подрывных» институтов в России: в какой мере оно обусловлено историко-культурным «наследием», характером развития государства или воздействием групп специальных интересов. Соответственно пока преждевременно говорить о том, в какой мере возможно излечение этих заболеваний в России и в других государствах, какие лекарства могут оказаться необходимыми для преодоления патологий, а главное — окажутся ли они в конечном итоге востребованными российским государством и обществом.

---

<sup>5</sup> Аналогичные проблемы характерны и для исследований стран Латинской Америки (Helmke, Levitsky, 2006).

## ЛИТЕРАТУРА

- Афанасьев М. (2000), *Клиентелизм и российская государственность*, 2-е издание, М.: МОНФ.
- Ахиезер А. (1997), *Россия: критика исторического опыта*, Новосибирск: Сибирский хронограф.
- Барсукова С. (2009), *Неформальная экономика: курс лекций*, М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ.
- Белокурова Е., Воробьев Д. (2010), Общественное участие на локальном уровне в современной России, *Неприкосновенный запас*, № 2, с. 83–91.
- Вебер М. (1990), Политика как призвание и профессия, в: Вебер М. *Избранные произведения*, М.: Прогресс, с. 644–706.
- Волков В. (2005), Дело «Стандарт Ойл» и «Дело Юкоса», *Pro et Contra*, т. 9, № 2, с. 66–91.
- Гельман В. (2009), Динамика субнационального авторитаризма: Россия в сравнительной перспективе, *Общественные науки и современность*, № 3, с. 50–63.
- Гельман В., Рыженков С., Бри М. (ред.) (2000), *Россия регионов: трансформация политических режимов*, М.: Весь мир.
- Голос (2009), *Ассоциация «Голос» — достоверно о выборах с 2000 года*, www.golos.org (доступ 22 декабря 2009).
- Голосов Г. (2008), Электоральный авторитаризм в России, *Pro et Contra*, т. 12, № 1, с. 22–35.
- Заостровцев А. (2009), *Модернизация и институты: подходы к количественному измерению*, СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, Центр исследований модернизации, препринт М-04/09, [http://www.eu.spb.ru/images/M\\_center/zaostrovstvsev\\_modern\\_inst.pdf](http://www.eu.spb.ru/images/M_center/zaostrovstvsev_modern_inst.pdf) (доступ 22 декабря 2009).
- Кузьминов Я., Радаев В., Яковлев А., Ясин Е. (2005), Институты: от заимствования — к выращиванию (опыт российских реформ и возможности культивирования институциональных изменений), *Вопросы экономики*, № 5, с. 5–27.
- Левада Ю. (ред.) (1993), *Советский простой человек: опыт социального портрета на рубеже 80-х — 90-х*, М.: Мировой океан.
- Левада Ю. (2006), *Ищем человека: социологические очерки 2000–2005*, М.: Новое издательство.
- Либман А. (2006), Институциональная конкуренция и постсоветская трансформация (Влияние неформальных институтов), *Общественные науки и современность*, № 6, с. 53–64.
- Найшуль В. (1991), Высшая и последняя стадия социализма, в: Т. Ноткина (ред.), *Постижение*, М.: Прогресс, с. 31–62.
- Панеях Э. (2003), Неформальные институты и использование формальных правил: закон действующий vs. закон применяемый, *Политическая наука*, № 1, с. 35–52.

- Паппэ Я., Галухина Я. (2009), *Российский крупный бизнес: первые 15 лет. Экономические хроники 1993–2008 гг.*, М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ.
- Пивоваров Ю., Фурсов А. (1999), Русская система и реформы, *Pro et Contra*, т. 4, № 3, с. 176–197.
- Полтерович В. (1999), Институциональные ловушки и экономические реформы, *Экономика и математические методы*, т. 35, № 2, с. 1–37.
- Рыженков С. (2010), Локальные режимы и «вертикаль власти», *Неприкосновенный запас*, № 2, с. 53–62.
- Шириков А. (2010), *Анатомия бездействия: политические институты и бюджетные конфликты в регионах России*, СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.
- Яковлев А., Фрай Т. (2007), Реформы в России глазами бизнеса, *Pro et Contra*, т. 11, № 4–5, с. 118–134.
- Bova R. (1999), Democratization and the Crisis of the Russian State, in: G. Smith (ed.), *State-Building in Russia: The Yeltsin Legacy and the Challenge of the Future*, Armonk, NY: M.E. Sharpe, p. 17–40.
- Bunce V. (1999), *Subversive Institutions: The Design and the Destruction of Socialism and the State*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Cashu I., Orenstein M. (2001), The Pensioners' Court Campaign: Making Law Matter in Russia, *East European Constitutional Review*, vol. 10, N 4, p. 67–71.
- Cohn M. (2001), Fuzzy Legality in Regulation: The Legislative Mandate Revisited, *Law and Policy*, vol. 23, N 4, p. 469–497.
- Collins K. (2006), *Clan Politics and Regime Transition in Central Asia*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Denisova I., Eller M., Frye T., Zhuravskaya E. (2009), Who Wants to Revise Privatization? The Complementarity of Market Skills and Institutions, *American Political Science Review*, vol. 103, N 2, p. 284–304.
- Etzioni-Halevy E. (1979), *Political Manipulations and Administrative Power*, London: Routledge and Kegan Paul.
- Freeland C. (2000), *Sale of the Century: The Inside Story of the Second Russian Revolution*, Boston: Little, Brown.
- Frye T. (2002), The Two Faces of Russian Courts: Evidence from a Survey of Company Managers, *East European Constitutional Review*, vol. 11, N 1/2, p. 125–129.
- Ganev V. (2001), The Dorian Grey Effect: Winners as State Breakers in Postcommunism, *Communist and Post-Communist Studies*, vol. 34, N 1, p. 1–25.
- Gel'man V. (2004), The Unrule of Law in the Making: The Politics of Informal Institution Building in Russia, *Europe-Asia Studies*, vol. 56, N 7, p. 1021–1040.
- Gibson J. (2003), Russian Attitudes toward the Rule of Law: An Analysis of Survey Data, in: D. Galligan, M. Kurkchian (eds.), *Law and Informal Practices: The Post-Communist Experience*, Oxford: Oxford University Press, p. 77–91.

- Grzymala-Busse A. (2003), Political Competition and the Politicization of the State in East Central Europe, *Comparative Political Studies*, vol. 36, N 10, p. 1123–1147.
- Guriev S., Rachinsky A. (2005), The Role of Oligarchs in Russian Capitalism, *Journal of Economic Perspectives*, vol. 19, N 1, p. 131–150.
- Harrison L. (1992), *Who Prospers? How Cultural Values Shapes Economic and Political Success*, New York: Basic Books.
- Helmke G., Levitsky S. (2004), Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda, *Perspectives on Politics*, vol. 2, N 4, p. 725–740.
- Helmke G., Levitsky S. (eds.) (2006), *Informal Institutions and Democracy: Lessons from Latin America*, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Hendley K. (2001), Rewriting the Rules of the Game in Russia: The Neglected Issue of the Demand for Law, in: A. Brown (ed.), *Contemporary Russian Politics: A Reader*, Oxford: Oxford University Press, p. 131–138.
- Hoffman D. (2002), *Oligarchs: The Wealth and Power in the New Russia*, New York: Public Affairs Books.
- Jowitt K. (1992), *New World Disorder: The Leninist Extinction*, Berkeley, CA: University of California Press.
- Kang D. (2002), *Crony Capitalism: Corruption and Development in South Korea and the Philippines*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Lauth H.-J. (2000), Informal Institutions and Democracy, *Democratization*, vol. 7, N 4, p. 21–50.
- Ledeneva A. (1998), *Russia's Economy of Favours: Blat, Networking, and Informal Exchanges*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Ledeneva A. (2006), *How Russia Really Works: The Informal Practices That Shaped Post-Soviet Politics and Business*, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Mau V., Starodubrovskaya I. (2001), *The Challenge of Revolution: Contemporary Russia in Historical Perspective*, Oxford: Oxford University Press.
- North D. (1990), *Institutions, Institutional Changes, and Economic Performance*, Cambridge: Cambridge University Press.
- O'Donnell G. (1996), Illusions about Consolidation, *Journal of Democracy*, vol. 7, N 2, p. 34–51.
- Olson M. (1982), *The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities*, New Haven, CT: Yale University Press.
- Ostrom E. (1990), *Governing the Commons: Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Pipes R. (1974), *Russia under the Old Regime*, New York: Scribner.
- Popova M. (2006), Watchdogs or Attack Dogs? The Role of Russian Courts and the Central Electoral Commission in the Resolution of Electoral Disputes, *Europe-Asia Studies*, vol. 58, N 3, p. 391–414.
- Pryadilnikov M. (2009), *Citizens (and Tax Inspectors) Against the State: Tracking Changes in Attitudes towards Tax Compliance in Russia, 2001–2008*, Paper presented at the APSA Annual Convention, Toronto, 3–6 September.



- Remington T. (2001), *The Russian Parliament: Institutional Evolution in a Transitional Regime, 1989–1999*, New Haven, CT: Yale University Press.
- Rose R., Mishler W., Munro N. (2006), *Russia Transformed: Developing Popular Support for a New Regime*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Schedler A. (ed.) (2006), *Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition*, Boulder, CO: Lynne Rienner.
- Scott J. (1985), *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, New Haven, CT: Yale University Press.
- Shleifer A., Treisman D. (2004), A Normal Country, *Foreign Affairs*, vol. 83, N 2, p. 20–38.
- Solnick S. (1998), *Stealing the State: Control and Collapse in Soviet Institutions*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Solomon P. (2008), Law in Public Administration: How Russia Differs, *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, vol. 24, N 1, p. 115–135.
- Stinchcombe A. (1999), Ending Revolutions and Building New Governments, *Annual Review of Political Science*, vol. 2, p. 49–73.
- Stoner-Weiss K. (2006), *Resisting the State: Reform and Retrenchment in Post-Soviet Russia*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Volkov V. (2002), *Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism*, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Volkov V. (2004), Hostile Enterprise Takeover: Russia's Economy in 1998–2002, *Review of Central and East European Law*, vol. 29, N 4, p. 527–548.
- Woodruff D. (1999), *Money Unmade: Barter and the Fate of Russian Capitalism*, Ithaca, NY: Cornell University Press.